



A movie poster featuring a man and a woman in a high-rise apartment. The man, in the foreground, has grey hair and a beard, wearing a white shirt. The woman, behind him, has blonde hair and is wearing a pink shirt. They are both looking intensely at the camera. The background shows a city skyline at sunset.

ИЗМЕНА

(НЕ) БРАКОВАННАЯ!

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

Ульяна Соболева

Измена. (Не) бракованная!

<https://litres.ru/74216228>

SelfPub; 2026

Аннотация

Три выкидыша за четыре года.

«Попробуем ещё», — говорил муж.

«Пустоцвет», — шептались за моей спиной.

Когда тест наконец показал две полоски — я поверила в чудо.

Бросилась к мужу. Хотела увидеть счастье в его глазах.

Увидела — её. На его столе. В его кабинете. Под нашей свадебной фотографией.

Четыре месяца. Весь город знал. Кроме меня.

А потом в больницу пришла свекровь. Улыбнулась:

"Пустоцвет. Вот кто ты. Отпусти моего сына. К женщине, которая СПОСОБНА рожать. Эта женщина — уже беременна".

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	27
Глава 4	41
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Ульяна Соболева

Измена. (Не) бракованная!

Глава 1

«Надежда — самый жестокий палач. Она не убивает сразу. Она даёт тебе глоток воздуха, позволяет поверить, что ты выплыла — и топит снова. И снова. Пока ты не забудешь, как дышать без боли».

Две полоски.

Я смотрела на них так долго, что они отпечатались на сетчатке — даже когда закрывала глаза, видела их: яркие, чёткие, безжалостные в своей определённости.

Четвёртая беременность.

Руки не дрожали. Странно — я думала, будут. После всего, что было, после трёх могил без надгробий в моей душе, после трёх имён, которые никто не произносил вслух, кроме меня — я думала, что моё тело взбунтуется. Закричит, забьётся в истерике, откажется верить.

Но руки были спокойны. Мёртвые руки мёртвой женщины.

Восемь недель. Я носила эту тайну четырнадцать дней — как бомбу под сердцем, как приговор, который боялась зачитать вслух. Каждое утро просыпалась с мыслью: сегодня

начнётся кровь. Каждый поход в туалет превращался в пытку — я смотрела на белую ткань белья и ждала. Ждала красного. Ждала боли. Ждала конца, который всегда приходил.

Но крови не было.

Две недели — и ни капли.

Вчера я была на УЗИ. Тайком, как воровка — записалась в клинику на другом конце Москвы, чтобы никто не узнал. Чтобы Дмитрий не узнал. Чтобы не видеть в его глазах эту искру надежды, которая потом гаснет, оставляя только пепел.

Я лежала на кушетке, вцепившись в края простыни так, что побелели костяшки. Холодный гель на животе, датчик скользит по коже. Врач молчит — секунду, две, вечность.

А потом я услышала.

Стук.

Быстрый, ровный, настойчивый — как будто кто-то крошечный стучится изнутри: «Впусти меня. Я здесь. Я живой».

Сто сорок ударов в минуту.

— Сердцебиение хорошее, — сказала врач. — Плод развивается нормально. Пока всё в порядке.

Пока.

Это слово — приговор для таких, как я. «Пока» — значит «жди». «Пока» — значит «не расслабляйся». «Пока» — значит «мы оба знаем, чем это закончится, но давай притворимся, что есть шанс».

Я вышла из клиники и долго стояла на парковке, глядя

в серое апрельское небо. Мимо шли люди — беременные женщины с круглыми животами, молодые мамы с колясками, счастливые, беззаботные, не знающие, как это — хоронить того, кто даже не успел родиться.

Вы не понимаете, — хотелось крикнуть им. — Вы берёте это как должное. Две полосы — радость. Токсикоз — неудобство. Роды — финал истории. А для меня каждый день — война. Каждое утро — проверка: ты ещё жив, малыш? Ты ещё со мной?

Но я молчала. Я всегда молчала.

Потому что никто не хочет слышать о мёртвых детях. Это неудобно, неприятно, портит настроение. Людям проще сказать: «Ну, бывает» или «Значит, не судьба» или — моё любимое — «Зато теперь можешь попробовать снова».

Снова.

Как будто дети — это лотерейные билеты. Не выиграла — купи ещё один. И ещё. Пока не повезёт.

Они не понимают, что каждый «билет» — это часть тебя. Кусок сердца, который ты отдаёшь — и не получаешь обратно. Три выкидыша — три дыры в груди, которые не зарастают. Три имени, которые я шепчу ночами, когда Дмитрий думает, что я сплю.

Миша. Мой первый. Десять недель — я даже не успела почувствовать его движения. Просто однажды утром проснулась в луже крови и поняла: всё. Врачи сказали — замершая беременность. Бывает. Часто. Не переживайте, попробуете

снова.

Снова.

Аня. Моя девочка. Шестнадцать недель — я уже разговаривала с ней. Гладила живот перед сном, рассказывала сказки. А потом — отслойка плаценты, скорая, операционная. «Мы сделали всё возможное».

Всё возможное — это когда выносят из тебя мёртвое тело твоего ребёнка и говорят: «Молодец, держалась хорошо».

И Ванечка. Мой мальчик. Двадцать недель — я чувствовала, как он шевелится. Крошечные толчки, похожие на взмахи крыльев бабочки. Дмитрий купил кроватку — не сказав мне, хотел сделать сюрприз. Поставил в детской, которую мы готовили вместе.

А потом я родила его. Живым — на несколько минут. Он лежал у меня на груди, такой маленький, что помещался в ладони. Синий. Тёплый ещё. Смотрел на меня — или мне казалось, что смотрел. Врачи говорили, что новорождённые не видят, но я знала: он видел. Он знал, что я — его мама. И что я не смогла его спасти.

Два часа. Он прожил два часа.

Дмитрий не заходил в палату. Стоял под дверью, слушал мои крики. А когда всё закончилось — уехал. Вернулся через три дня, пахнувший сигаретами и виски. Не сказал ни слова. Вынес кроватку в гараж. Запер детскую.

Мы никогда не говорили о Ванечке. Как будто его не было. Как будто я не держала его, умирающего, прижимая к груди

и умолая: «Дыши, пожалуйста, дыши, мой хороший, мама здесь, мама рядом, только дыши...»

Но он не дышал.

А я — продолжала. Хотя не понимала, зачем.

Каждое воскресенье я хожу в церковь.

Я прихожу, когда пусто, когда только старушки ставят свечки за упокой. Покупаю три — всегда три — и несусь к иконе Божьей Матери.

Она смотрит на меня с пониманием. Или мне так кажется. Она тоже потеряла сына — может, она одна знает, каково это.

— Миша, — шепчу я, зажигая первую свечу. — Мама помнит тебя.

— Анечка, — вторая свеча. — Мама любит тебя.

— Ванечка, — третья. — Мама скучает.

Они некрещённые — мои дети. По церковным канонам — даже не люди. Нельзя отпевать, нельзя поминать, нельзя ставить свечки. Но мне плевать на каноны. Я — их мать. Я буду помнить их, пока жива.

Иногда бабушки смотрят на меня с жалостью. Иногда — с осуждением. Молодая, красивая, богатая — какое у неё может быть горе? Наверное, любовника поминает.

Я не объясняю. Зачем?

Однажды священник подошёл ко мне. Молодой, с добрыми глазами.

— Дочь моя, за кого ставишь свечи?

— За детей.

— Твоих детей?

— Моих. Которых нет.

Он помолчал. Потом положил руку мне на плечо.

— Господь принял их души. Они — ангелы теперь.

Я посмотрела на него. Хотела сказать: «Мне не нужны ангелы. Мне нужны дети. Живые, тёплые, кричащие по ночам. Я хочу менять подгузники, а не ставить свечи. Хочу колыбельные петь, а не молитвы читать».

Но промолчала. Кивнула. Ушла.

Потому что никто не понимает. Никто.

И вот — четвёртая беременность. Восемь недель. Сердцебиение есть.

Я стояла в ванной нашего пентхауса, смотрела на тест — и думала: это конец или начало?

За окном — Москва-река, закат, красивая картинка для инстаграма. Я ненавидела этот вид. Ненавидела этот пентхаус — огромный, роскошный, мёртвый. Триста двадцать квадратных метров пустоты. Дизайнерская мебель, на которой никто не сидит. Детская, которую мы заперли и не открываем.

Золотая клетка. Я сама её спроектировала — когда верила, что здесь будет счастье. Что эти стены услышат детский смех, что по этим полам будут бегать маленькие ножки.

Не слышали. Не бегали.

Только тишина. И мои шаги — из спальни на кухню, с

кухни в гостиную. Круг за кругом, день за днём.

Дмитрий приходил поздно — или не приходил совсем. «Работа, — говорил он. — Проект горит». Я верила. Хотела верить. Потому что альтернатива была невыносима.

Мы не разговаривали. Не прикасались друг к другу — с того дня, как потеряли Ванечку. Восемь месяцев — ни одного поцелуя, ни одного объятия. Он спал на краю кровати, отвернувшись к стене. Я — на своём краю, глядя в потолок.

Два чужих человека в одном дорогом гробу.

Но сегодня — я решила. Хватит молчать. Хватит бояться. У меня внутри бьётся сердце — сто сорок ударов в минуту. Мой ребёнок. Мой четвёртый шанс.

Я скажу Дмитрию. Сегодня. Сейчас.

Идея пришла внезапно: поехать к нему в офис. Сделать сюрприз. Как раньше, в первые годы брака — когда я привозила ему обеды, когда мы целовались в его кабинете, когда смеялись над чем-то глупым.

Когда были живыми.

Я собиралась долго. Выбрала платье — то самое, в котором мы познакомились. Светло-голубое, струящееся. Он говорил, что в нём я похожа на ангела.

Ангела. Как мои дети — по версии священника.

Положила в сумку конверт: тест и снимок УЗИ. Маленькая точка на экране — мой ребёнок. Моя надежда.

Вызвала такси. Ехала через весь город, смотрела в окно и думала: а что, если всё получится? Что, если этот ребёнок

— выживет? Что, если через семь месяцев я буду держать на руках живое, тёплое, кричащее существо — своё, родное?

Мурашки бежали по позвоночнику — не от холода, от предвкушения. Впервые за два года я чувствовала что-то, похожее на счастье. Или на его тень.

Москва-Сити сверкала в вечерних огнях. Башня «Северная» — его башня, его империя — вонзалась в небо как фаллический символ власти. Он построил её с нуля, назвал своим именем. Гордился больше, чем чем-либо в жизни.

Больше, чем мной.

Я поднялась на сорок седьмой этаж. Коридоры пустые — поздний вечер, все разошлись. Охранник внизу узнал меня, пропустил без вопросов. «Жена босса» — это пропуск куда угодно.

Шла по коридору, и каблук стучали по мрамору — цок-цок-цок. Сердце билось в такт, рука сжимала конверт.

Сейчас. Сейчас я скажу ему. Сейчас всё изменится.

Дверь его кабинета была приоткрыта. Свет приглушён — он любил полумрак, говорил, что так лучше думается. Я улынулась, толкнула дверь...

И мир рухнул.

Они были на его столе. На том самом столе, за которым он подписывал наш брачный контракт. За которым мы пили шампанское в ночь после свадьбы.

Регина.

Её чёрные волосы разметались по бумагам. Юбка задра-

на до пояса. Ноги обвивают его бёдра. Он — между её ног, спиной ко мне. Двигается. Стонет.

Звуки. Влажные, мерзкие, животные звуки.

Я стояла в дверях и смотрела. Не могла пошевелиться. Не могла дышать. Воздух превратился в стекло — я пыталась вдохнуть, и осколки резали лёгкие изнутри.

Это сон. Это не может быть правдой. Сейчас я проснусь.

Конверт выпал из моих рук. Глухой звук — он ударился об пол, и тест вылетел, белая полоска на сером мраморе.

Они обернулись.

Лицо Дмитрия — я запомню его навсегда. Ужас, стыд, отращение к себе. Он открыл рот — и не смог ничего сказать.

А Регина — улыбалась. Довольная, сытая улыбка кошки, поймавшей мышь. Она смотрела прямо на меня и улыбалась.

— Варя... — голос Дмитрия. Хриплый, чужой. — Стой... Я всё объясню... Всё не так, как ты думаешь!

Не так, как я думаю?

Я думаю, что мой муж трахает другую женщину на своём рабочем столе. Что он внутри неё — прямо сейчас. Что она стонала его имя, пока я ехала через весь город с тестом на беременность в сумке.

Что ещё я должна думать?

— Варя, подожди...

Он потянулся ко мне — застёгивая штаны, путаясь в ремне. Жалкий. Мерзкий. Чужой.

Я развернулась и побежала.

Коридор. Лифт. Кнопка — «вниз». Двери закрываются. Его лицо в щели — он бежит, кричит моё имя.

Поздно.

Сорок семь этажей вниз. Я стояла в лифте, смотрела на своё отражение в зеркальной стене — и не узнавала. Бледное лицо, пустые глаза. Мёртвая женщина в голубом платье.

Надежда — самый жестокий палач.

Парковка. Моя машина. Руки трясутся — ключ не попадает в замок. Раз, два, три попытки. Наконец — открыла, села, завела.

Выехала на дорогу.

Москва мелькала за окном — огни, люди, жизнь. А я ехала сквозь это — как призрак, как тень. Не видя ничего. Только его лицо. Её улыбку. Его руки — на её теле.

Четыре месяца, — думала я. — Роман длится четыре месяца. Пока я лежала дома, оплакивала мёртвых детей, надеялась на чудо — он был с ней. Входил в неё. Целовал её. Шептал ей то, что раньше шептал мне.

Слёзы текли по щекам — я не вытирала. Зачем? Кто увидит?

Светофор. Красный. Я остановилась, вцепилась в руль. И тогда почувствовала.

Боль. Внизу живота. Резкая, как удар ножом.

Я опустила глаза.

Между ног — красное. Много красного. На светлой ткани платья — кровь.

Нет. Нет-нет-нет. Только не снова. Пожалуйста.

Я прижала руку к животу.

— Держись, малыш. Пожалуйста, держись. Мама здесь. Мама рядом. Только — держись...

Светофор мигнул зелёным. Я нажала на газ.

Боль усилилась — волнами, спазмами. Кровь текла — я чувствовала, как намокает сиденье.

Только не снова. Я не выдержу снова. Пожалуйста.

Дорога расплывалась — от слёз, от боли. Я не видела, куда еду. Фары машин мелькали, как звёзды — приближались, исчезали.

Гудок.

Яркий свет.

Удар.

Темнота.

Я плыла в ней — невесомая, бестелесная. Боли не было. Страх не было. Только тишина и темнота.

Это смерть? — подумала я. — Так вот она какая.

Где-то далеко — голоса. Сирены. Чьи-то руки.

— Женщина, вы меня слышите? Как вас зовут?

Я хотела ответить — но не смогла. Губы не слушались.

— Здесь кровь! Много крови! Она беременна, смотрите — направление на УЗИ!

— Срочно в операционную!

Малыш, — думала я, уплывая обратно в темноту. — Мой малыш. Ты ещё там? Ты ещё со мной?

Ответа не было.

Только темнота.

И тишина.

«Говорят, материнство — это дар. Но что, если твоё тело отвергает этот дар снова и снова? Что, если ты — пустоцвет, красивая оболочка без содержимого? Что, если единственное, на что ты способна — это умирать по частям, каждый раз хороня кусочек своей души вместе с ребёнком, которого не смогла спасти?

Я не знаю ответов.

Я знаю только одно: сто сорок ударов в минуту. Там, внутри меня, кто-то стучится.

И я должна открыть дверь. Должна. Хотя бы в этот раз.»

Глава 2

«Есть боль, которая убивает сразу — милосердно, быстро, окончательно. А есть та, что разрывает тебя по частям, по волокнам, по нервным окончаниям — и оставляет жить. Потому что смерть была бы слишком лёгким наказанием».

* * *

Белый потолок.

Я смотрела на него так долго, что он стал единственной реальностью. Белый, ровный, безразличный — как саван, которым накрывают покойников. Может, я уже мертва? Может, это и есть загробный мир — бесконечный белый потолок и запах хлорки?

Боль вернулась раньше памяти. Тупая, ноющая, растёкшаяся по всему телу, как чернила по воде. Я попыталась пошевелить пальцами — получилось. Значит, не парализована. Уже хорошо. Уже что-то.

А потом память ударила — наотмашь, без предупреждения.

Его руки на её теле. Её стоны в его кабинете. Конверт на полу — тест и снимок УЗИ, мой подарок, моя надежда, растоптанная его ботинками.

Кровь между ног. Руль, выворачивающийся из рук. Свет фар — слепящий, белый.

Ребёнок.

Я рванулась вверх — и тут же рухнула обратно. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Капельница дёрнулась на штативе, игла больно впилась в вену.

— Лежите, лежите, — женский голос, мягкий, успокаивающий. Медсестра. Полная, с добрым лицом, в голубой форме. — Вам нельзя резко двигаться.

— Ребёнок, — прохрипела я. Горло драло, будто я глотала битое стекло. — Мой ребёнок...

Медсестра замерла на секунду. Я видела, как дрогнули её губы, как она подбирает слова. Этот момент — между вопросом и ответом — длился вечность. Целую жизнь. Я умирала внутри него, готовясь услышать то, что слышала уже трижды.

«Мы сделали всё возможное».

«К сожалению, сохранить беременность не удалось».

«Вам нужно быть сильной».

— Жив, — сказала медсестра. — Ваш ребёнок жив.

Я не сразу поняла. Слово «жив» казалось иностранным, незнакомым. Я так привыкла к смерти, что забыла, как звучит жизнь.

— Жив? — переспросила я шёпотом.

— Да. Была сильная угроза, отслойка плаценты, кровопотеря. Вас экстренно прооперировали. Но ребёнок — в порядке. Сердцебиение стабильное.

Слёзы потекли сами — я не могла их остановить, да и не пыталась. Они катились по вискам, стекали в волосы, капали

на подушку. Солёные, горячие, живые.

Жив. Мой ребёнок жив.

Сто сорок ударов в минуту. Он там, внутри меня. Борется. Цепляется за жизнь. Несмотря ни на что.

— Вам нужен покой, — медсестра поправила капельницу, проверила какие-то приборы. — Полный постельный режим. Никаких волнений, никаких стрессов. Понимаете?

Никаких стрессов. Я едва не рассмеялась — истерически, страшно. Мой муж трахает другую женщину. Я узнала об этом, когда ехала сообщить ему о беременности. Я попала в аварию. Я чуть не потеряла четвёртого ребёнка.

Никаких стрессов. Конечно. Как скажете.

— В коридоре ваш муж, — добавила медсестра, и её голос стал осторожным. — Он здесь с ночи. Не уходит. Просит пустить к вам.

Меня выворачивало от этих слов. Физически — желудок скрутило, к горлу подкатила желчь. Он здесь. Сидит в коридоре. Играет роль заботливого мужа. А несколько часов назад — сколько прошло? день? два? — он был внутри другой женщины.

— Не хочу его видеть.

Голос прозвучал ровно, мёртво. Я сама удивилась, как спокойно это сказала. Будто о постороннем человеке, будто о ком-то, кого никогда не любила.

Медсестра кивнула. Не спросила почему, не стала уговаривать. Может, видела такое не раз. Может, научилась не

лезть в чужие трагедии.

— Я передам.

Она ушла, и я осталась одна. Наедине с белым потолком, с капельницей, с болью — физической и той, другой, которая страшнее любых ран.

* * *

Знаете, что самое страшное в предательстве?

Не сам факт. Не образы, которые теперь навсегда выжжены в памяти — его руки на её теле, её запрокинутая голова, звуки, от которых хочется выцарапать себе уши.

Самое страшное — это понимание того, что ты была слепой. Что все вокруг видели, знали, шептались за спиной — а ты верила. Ждала с работы. Готовила ужины. Мечтала о детях, которых он делал с другой.

Четыре месяца. Их роман длился четыре месяца.

Я лежала и считала. Декабрь — корпоратив, на который я не пошла, потому что плохо себя чувствовала после обследования. Январь — он стал задерживаться на работе. Февраль — перестал прикасаться ко мне. Март — я заметила новый парфюм, не тот, что дарила я.

Знаки были везде. Я просто не хотела их видеть.

Потому что если ты видишь правду — нужно что-то делать. Уходить. Кричать. Бить посуду. А я была слишком занята другим — хоронила детей, оплакивала пустую кроватку, молила бога, в которого не верю, дать мне ещё один шанс.

Пока я ставила свечи за Мишу, Аню и Ванечку — он

ставил её на свой рабочий стол.

Пока я глотала таблетки, чтобы выносить его ребёнка — он вливал себя в другую женщину.

Пока я умирала от страха потерять эту беременность — он забывал обо мне в её объятиях.

Меня трясло. Не от холода — от ненависти. Она поднималась откуда-то из глубины, из того места, где я хоронила боль, и заполняла меня целиком. Густая, чёрная, удушающая.

Я ненавидела его. Так сильно, что кости ломило от этой ненависти. Позвоночник выгибался, мурашки бежали по коже волнами — не от холода, от ярости, которой некуда было деться.

И я ненавидела себя. За то, что позволила. За то, что верила. За то, что до сих пор — где-то там, под слоями боли и отвращения — любила его.

Любовь не умирает от предательства. Она гниёт заживо, отравляя всё вокруг.

* * *

На второй день пришла свекровь.

Я узнала её по звуку шагов — размеренному, уверенному, хозяйскому. Элеонора Павловна не входила в комнаты — она вторгалась. Захватывала территорию. Помечала углы своим присутствием.

— Варенька.

Голос сладкий, как патока. Фальшивый, как всё в её жиз-

ни.

Я повернула голову. Она стояла в дверях — безупречная, как всегда. Кашемировое пальто, жемчужные серьги, укладка волосок к волоску. Шестьдесят два года — а выглядит на пятьдесят. Дисциплина, бассейн, ненависть к невестке — отличный рецепт молодости.

— Элеонора Павловна.

Она прошла к кровати, села на стул для посетителей. Достала из сумки апельсины — символический жест, спектакль заботы.

— Я принесла фрукты. Тебе нужны витамины.

— Спасибо.

Молчание. Она разглядывала меня — как врач разглядывает пациента перед операцией. Искала слабые места. Точки, куда можно воткнуть скальпель.

— Дима очень переживает, — начала она. — Он там, в коридоре. Не ест, не спит. Ты жестока, Варя. Не пускаешь мужа к больной жене.

Я молчала. Знала, что это только начало.

— Хотя, — она вздохнула, и в этом вздохе было столько яда, сколько не бывает ни в одной змее, — я понимаю тебя. Должно быть, неприятно узнать... то, что ты узнала.

Вот оно. Я чувствовала, как напрягается каждая мышца, как сердце начинает биться чаще. Датчик на пальце пискнул, фиксируя изменение пульса.

— Хотя, признаться, я не удивлена, — продолжала Элео-

нора Павловна. — Регина — прекрасная женщина. Умная, красивая, успешная. И главное — здоровая.

Она произнесла это слово — «здоровая» — так, будто это было высшее достоинство. Главное качество, которое отличает настоящую женщину от подделки.

— Ты ведь понимаешь, Варенька, — голос свекрови стал мягче, почти ласковым, — что мужчине нужна женщина, которая может дать ему детей. Не... — она замялась, подбирая слово, — не пустоцвет.

Пустоцвет.

Это слово ударило меня в солнечное сплетение. Воздух вышел из лёгких, и несколько секунд я не могла вдохнуть.

Пустоцвет — цветок, который не даёт плодов. Красивая оболочка, за которой — ничего. Пустота. Бесплодие. Ничтожность.

— Три выкидыша, — Элеонора Павловна загибала пальцы, будто вела счёт моим неудачам. — Три ребёнка, которых ты не смогла выносить. Это ведь о чём-то говорит, правда? Может, природа намекает, что материнство — не твоё призвание?

Я хотела закричать. Хотела встать, схватить её за горло, вытолкать из палаты. Хотела сказать ей: я хоронила этих детей. Я держала Ванечку на руках, пока он умирал. Я просыпалась в крови и понимала, что во мне больше никого нет. Я ставила свечи каждое воскресенье, потому что никто, кроме меня, не помнит их имён.

Но я молчала. Потому что слова застряли в горле, потому что слёзы душили, потому что она не заслуживала моей боли. Она не имела права знать, как это — терять детей.

— Регина, — продолжала свекровь, — может дать Диме то, что ты не способна. Наследника. Продолжение рода. А ты... — она посмотрела на мой живот, скрытый под больничным одеялом, — ты снова беременна, я знаю. И снова будет выкидыш. Потому что ты — пустоцвет, Варя. Тебе не дано. Смирись.

Она говорила это спокойно, почти сочувственно. Как будто констатировала медицинский факт. Как будто не вбивала гвозди в мой гроб.

— Я думаю, — Элеонора Павловна встала, поправила пальто, — тебе стоит подумать о разводе. Отпусти Диму. Дай ему шанс на нормальную жизнь. С женщиной, которая способна быть матерью.

Она направилась к двери, но на пороге обернулась.

— И ещё, Варенька. Регина — достойная женщина. Она любит Диму. По-настоящему. Не так, как ты — цепляясь за деньги и статус. Она любит его самого. Может, поэтому он выбрал её.

Дверь закрылась. Я лежала, глядя в потолок, и чувствовала, как что-то внутри меня умирает.

Она знала. Всё это время — знала. О Регине, о романе, о том, что происходит за моей спиной. Может, даже способствовала — сводила их, создавала условия, шептала сыну на

уху: «Зачем тебе эта пустышка? Найди нормальную женщину».

Пустоцвет.

Это слово звенело в голове, как погребальный колокол. Пустоцвет. Пустоцвет. Пустоцвет.

Может, она права?

Может, я действительно — пустое место? Красивая оболочка, которая не способна дать жизнь? Бракованная матка, сломанное тело, женщина, которая не заслуживает материнства?

Я положила руку на живот. Там, внутри, билось маленькое сердце. Мой ребёнок. Мой четвёртый шанс.

— Я не пустоцвет, — прошептала я вслух. — Слышишь, малыш? Я не пустоцвет. Я — твоя мама. И я не дам им нас сломать.

Слёзы катились по щекам. Я не вытирала их. Пусть текут. Пусть вымывают яд, который она влила в меня своими словами.

Миша. Аня. Ванечка.

Мои дети. Мои ангелы. Они были — настоящие, живые, любимые. Пусть недолго. Пусть только во мне. Но они были.

И этот — будет. Я клянусь вам, мои маленькие. Эта девочка — врач сказала, девочка — она родится. Она будет жить. За вас всех.

* * *

Вечером пришли записки от Дмитрия. Телефон мой раз-

бился и нового пока не было.

Медсестра принесла их с извиняющимся видом — целую стопку, написанных на листках из блокнота. Его почерк — резкий, угловатый, знакомый до боли.

«Варя, прости меня».

«Я знаю, что не заслуживаю прощения».

«Позволь мне объяснить».

«Я люблю тебя. Только тебя».

«Это была ошибка. Страшная ошибка».

Я читала и не чувствовала ничего. Пустота. Слова, которые раньше значили всё — теперь были просто чернилами на бумаге.

Он любит меня? После четырёх месяцев с ней — любит?

Это была ошибка? Четыре месяца — это не ошибка. Это выбор. Каждый день, каждую ночь — он выбирал её. А теперь, когда попался, — называет это ошибкой.

Я взяла записки — все, сколько было — и разорвала. Методично, на мелкие кусочки. Бумажный снег посыпался на одеяло.

— Передайте ему, — сказала я медсестре, которая смотрела с порога, — что я не хочу его видеть. Ни сейчас, ни потом. Никогда.

Она кивнула и ушла.

Я лежала в темноте, положив руку на живот, и думала о том, как странно устроена жизнь. Ещё вчера — целую вечность назад — я ехала к мужу с радостной новостью. Верила,

что это начало чего-то светлого. Что мы справимся, выстоим, родим этого ребёнка и будем счастливы.

А сейчас лежу в больнице, одна, с разорванным сердцем и ребёнком, который борется за жизнь.

— Мы справимся, — шептала я дочери. — Мы с тобой — справимся. Без него. Без них всех. Только ты и я.

Она толкнулась в ответ. Маленький, едва ощутимый толчок — как будто соглашалась.

Я улыбнулась сквозь слёзы.

Впервые за этот бесконечный день — улыбнулась.

Есть раны, которые не заживают. Они остаются с тобой навсегда — саднят, кровоточат, напоминают о себе при каждом вдохе. Но ты учишься жить с ними. Учишься дышать несмотря на боль. Потому что внутри тебя бьётся сердце — маленькое, упрямое, живое. И ради него ты готова на всё. Даже — выжить

Глава 3

"Самое страшное в слепоте — не то, что ты не видишь. А то, что когда прозреваешь — понимаешь: весь мир смотрел на тебя с жалостью. Или с презрением. Или со смехом. А ты шла вперёд, спотыкаясь о собственные иллюзии, и думала, что это — счастье".

* * *

Пять дней в больнице.

Пять дней белого потолка, капельниц, таблеток по часам. Пять дней тишины, которую я сама себе выбрала — отказывалась от посетителей, не брала телефон, не читала сообщения. Выстроила вокруг себя стену и спряталась за ней, как улитка в раковине.

Ребёнок держался. Маленькое упрямое сердце стучало внутри меня — сто сорок ударов в минуту, стабильно, ровно. Врачи говорили: угроза миновала, но нужен покой. Абсолютный покой.

Покой. Смешное слово. Как будто можно успокоиться, когда твоя жизнь разлетелась на осколки. Как будто можно не думать о том, что видела в его кабинете. Как будто можно просто — выключить память.

Я не могла.

Каждую ночь — одно и то же. Закрываю глаза — и вижу их. Его спина, её ноги вокруг его бёдер, звуки, от которых

хочется содрать с себя кожу. Просыпаюсь в поту, с колотящимся сердцем, с криком, застрявшим в горле.

И лежу до утра, глядя в потолок, считая трещины на штукатурке.

Мама приезжала каждый день. Сидела рядом, держала за руку, не задавала вопросов. Она знала — я расскажу, когда буду готова. Если буду.

Отец приехал один раз. Постоял в дверях, посмотрел на меня — и я увидела в его глазах то, чего боялась больше всего. Боль. Беспомощность. Желание убить того, кто сделал это с его дочерью.

— Папа, — сказала я. — Не надо.

Он кивнул. Подошёл, поцеловал меня в лоб — как в детстве, когда я болела. И ушёл, ничего не сказав.

Мой отец — человек дела, не слов. Но я знала: он запомнил. И однажды — Дмитрий за это заплатит.

* * *

На шестой день пришла Катя.

Катерина Морозова — моя подруга со времён института. Мы вместе учились в МАРХИ, вместе мечтали о великих проектах, вместе плакали над первыми неудачами. Потом жизнь развела нас — я вышла замуж за Дмитрия и ушла из профессии, она осталась в дизайне и сделала карьеру. Но мы продолжали встречаться — раз в месяц, на кофе, поболтать о жизни.

Она работала с «Северов Групп» последние два года. Вела

интерьеры для их жилых комплексов. Я сама её рекомендовала Дмитрию — хотела помочь подруге.

Какая ирония.

Катя вошла в палату с букетом белых роз и виноватым лицом. Я сразу поняла: что-то не так. Она всегда была плохой актрисой — эмоции читались на ней, как заголовки в газете.

— Варя... — она села на край кровати, положила цветы на тумбочку. — Господи, Варя, как ты?

— Живая.

Молчание. Она теребила ремешок сумки, не поднимая глаз.

— Катя, — сказала я ровно. — Что ты хочешь мне сказать?

Она вздрогнула. Посмотрела на меня — и я увидела в её глазах страх. Не за меня — за себя. За то, что сейчас скажет.

— Я... Варь, я не знала, как тебе сказать. Я думала... думала, может, это слухи. Может, неправда. Не хотела тебя расстраивать...

Внутри меня что-то оборвалось. Тонкая нить надежды, которую я даже не осознавала — надежды на то, что это был первый раз. Случайность. Минутная слабость.

— Как давно? — мой голос звучал чужим. Мёртвым.

— Варя...

— Как давно ты знала, Катя?

Она опустила голову.

— С января.

Январь. Три месяца. Три месяца моя подруга знала, что мой муж спит с другой женщиной — и молчала.

— Почему не сказала?

— Я... — она всхлипнула. — Я не была уверена. Сначала были просто слухи. Кто-то видел их вместе в ресторане. Потом... потом Лена из бухгалтерии сказала, что видела, как Регина выходила из его машины утром. Возле офиса. В той же одежде, что была вчера вечером.

Меня затошнило. Физически — желудок скрутило, к горлу подступила желчь.

— Продолжай.

— Варь, весь офис знал. Они... они не особо скрывались. Обедали вместе, уезжали вместе, он... — она запнулась, — он дарил ей цветы. На восьмое марта. Огромный букет красных роз. При всех.

Восьмое марта. Я помнила этот день. Дмитрий пришёл домой поздно, сказал — завал на работе. Подарил мне духи — те самые, что я просила полгода назад. Я ещё подумала: надо же, запомнил.

А он в этот день дарил розы другой женщине. При всех. Не скрываясь.

— Что ещё? — я слышала свой голос будто со стороны. Ровный, спокойный. Труп не умеет кричать.

— Варь, хватит. Тебе нельзя волноваться...

— Что. Ещё.

Катя заплакала. Слезы текли по её щекам, она вытирала

их ладонью, размазывая тушь.

— Они... ездили вместе в Питер. В феврале. На какую-то конференцию. Жили в одном номере. Все знали.

Питер. Февраль. Он говорил — деловая поездка. Вернулся уставший, но довольный. Привёз мне шоколад из «Севера» — мой любимый с детства.

Я ела этот шоколад, пока он трахал её в номере отеля. Наверное, с видом на Исаакиевский собор. Романтика.

— Фотографии были?

— Что?

— Фотографии. Их фотографировали?

Катя замялась. Потом достала телефон, полистала, протянула мне.

Снимок с какого-то корпоративного мероприятия. Дмитрий в костюме — том самом тёмно-синем, который я выбирала для него в Милане. Рядом — Регина. Её рука на его локте. Она смотрит на него снизу вверх — влюблённо, собственнически. Он улыбается. Той улыбкой, которую я считала только своей.

— Это... это на дне рождения компании. Три недели назад. Ты не пришла, помнишь? Сказала, плохо себя чувствуешь.

Помню. Я лежала дома с токсикозом. Молилась, чтобы эта беременность продержалась. Боялась даже встать лишний раз — вдруг спугну удачу.

А он танцевал с ней. При всех. Под музыку, которую мы

с ним слушали на нашей свадьбе.

— Весь офис знал, — повторила я медленно. — Три месяца. И никто мне не сказал.

— Варя, мы... мы думали, что ты знаешь и... и принимаешь. Что у вас такой... договор.

Договор. Она думала, что у нас договор. Что я знаю о любовнице мужа и закрываю глаза — ради денег, ради статуса, ради комфортной жизни.

— Уходи, — сказала я.

— Варя...

— Уходи. Сейчас.

Она встала. Цветы остались на тумбочке — белые розы, символ чистоты. Какая насмешка.

— Я... мне правда жаль, Варь. Я должна была сказать. Прости.

Дверь закрылась. Я осталась одна.

И тогда — только тогда — я позволила себе закричать. Беззвучно, в подушку, чтобы никто не слышал. Кричала, пока не охрипла, пока горло не начало гореть огнём.

Все знали.

Весь мир знал — кроме меня.

* * *

Знаете, что такое настоящее унижение?

Это не когда тебе говорят в лицо, что ты — ничтожество. Это не когда кричат, оскорбляют, бьют. Это можно пережить. Это — честно.

Настоящее унижение — это когда ты улыбаешься людям, здороваешься, разговариваешь — а они смотрят на тебя и думают: «Бедняжка. Не знает, что муж её трахает секретаршу».

Или хуже: «Дура. Делает вид, что не знает».

Или ещё хуже: «Сама виновата. Не могла удержать мужика».

Я вспоминала последние месяцы — и каждое воспоминание было пропитано ядом.

Новогодний корпоратив — я не пошла, была после очередного обследования. Дмитрий вернулся под утро, пахнувший чужими духами. Я списала на толпу гостей — наверное, кто-то облил его, пока обнимались с поздравлениями.

День рождения его матери — Элеонора Павловна позвала Регину. «Такая милая девочка, правда, Дима?» Я сидела за столом и не понимала, почему свекровь так пристально смотрит на нас — на меня и на неё.

Вечеринка у партнёров — Регина была там. Подошла ко мне, мило улыбнулась: «Варвара, прекрасно выглядишь! Дмитрий такой счастливчик». Я поблагодарила. Она смотрела мне в глаза — и улыбалась. Зная, что через час будет в постели с моим мужем.

Меня выворачивало от этих воспоминаний. Буквально — я едва успела дотянуться до судна, прежде чем желудок вывернулся наизнанку.

Всё было ложью. Каждый день, каждый час, каждая ми-

нута последних месяцев — ложь.

Его «я задержусь на работе» — ложь.

Его «ты самая красивая» — ложь.

Его «я люблю тебя» — ложь, ложь, ложь.

И я верила. Как последняя дура — верила.

* * *

Медсестра принесла журнал. «Чтобы не скучали», — сказала она с улыбкой. Глянцевый, яркий, с какой-то моделью на обложке.

Я листала его бездумно — просто чтобы занять руки. Реклама духов, реклама машин, статья о диетах...

И вдруг — разворот. «Светская хроника». Фотографии с какого-то благотворительного вечера.

Я замерла.

В центре снимка — Дмитрий. Смокинг, бабочка, идеальная укладка. Рядом — Регина. Платье, обтягивающее фигуру, декольте до пупка, бриллианты в ушах. Его рука — на её талии. Её голова — склонена к его плечу.

Подпись: «Девелопер Дмитрий Северов с бизнес-партнёром Региной Вольской на благотворительном балу. А где же супруга бизнесмена? По нашим данным, Варвара Северова давно не появляется на светских мероприятиях».

Я смотрела на эту фотографию — и мир рушился.

Это было месяц назад. Благотворительный бал в пользу детских домов. Дмитрий сказал, что идёт один — «скучное мероприятие, тебе не понравится». Я осталась дома. Лежала

на диване, смотрела сериал, думала: какой у меня заботливый муж. Бережёт меня от скучных вечеринок.

А он вёл туда её. Позировал с ней перед камерами. Позволял ей касаться его, прижиматься к нему, демонстрировать всему миру: он — мой.

И весь мир видел. Читал эти журналы, смотрел эти фото, шептался: «Северов завёл любовницу. А жена, похоже, не в курсе».

Мурашки побежали по позвоночнику — ледяные, колючие. Кожа покрылась пупырышками, будто меня окунули в прорубь. Дышать стало тяжело — воздух застревал в горле, не доходя до лёгких.

Я была посмешищем. Три месяца — или дольше? — весь город смеялся надо мной. Обманутая жена, слепая дура, женщина, которая не видит очевидного.

Или хуже — женщина, которая знает и терпит. Ради денег. Ради положения. Ради того, чтобы остаться миссис Северовой.

Я разорвала журнал. Страницу за страницей, на мелкие клочки, пока пальцы не заболели. Обрывки глянцевой бумаги усыпали одеяло, как конфетти на похоронах.

* * *

Ночью я не спала.

Лежала в темноте и думала о том, как строится предательство. Не одновременно — кирпичик за кирпичиком. Каждая ложь — кирпич. Каждый обман — раствор между ними. И

вот уже стена, которая отделяет тебя от человека, которого ты любишь.

Когда он впервые посмотрел на неё — не как на коллегу, а как на женщину? Когда впервые подумал: «А что, если...»? Когда впервые прикоснулся к ней — случайно или намеренно?

Был ли момент, когда он мог остановиться — и не остановился? Был ли момент, когда подумал обо мне — и всё равно продолжил?

Или я для него уже тогда была никем? Пустым местом. Мебелью в дорогом пентхаусе. Женой, которая не способна родить ребёнка и потому — не заслуживает верности.

Пустоцвет.

Слово Элеоноры Павловны всплыло в памяти, как труп из болота. Пустоцвет. Вот кем я была для них — для него, для его матери, для всего их мира. Красивым цветком, который не даёт плодов. Украшением, которое можно выбросить, когда надоест.

Я положила руку на живот. Там, внутри, спала моя дочь. Маленькая, ещё не рождённая, ещё не знающая, в какой мир ей предстоит прийти.

— Я не дам им, — прошептала я в темноту. — Слышишь, малышка? Я не дам им сломать нас.

Она не ответила. Но мне показалось — я почувствовала слабое движение. Крошечное напоминание: ты не одна.

* * *

Утром я позвонила маме.

— Забери меня отсюда.

— Варя? Что случилось?

— Забери меня. Домой. В Вязьму.

Молчание. Потом — вздох.

— Ты уверена?

— Да.

— А как же... Дмитрий?

Я засмеялась. Смех был страшным — хриплым, скрипучим, похожим на карканье вороны.

— Дмитрия больше нет. Для меня — нет.

Мама не стала спрашивать. Она приехала в тот же день, поговорила с врачами, собрала мои вещи. Медсёстры смотрели с сочувствием — наверняка уже знали всю историю. В больницах сплетни разносятся быстрее вирусов.

Когда мы выходили из палаты, в коридоре сидел Дмитрий.

Он не уходил. Шесть дней — и он всё ещё был здесь. Небритый, осунувшийся, с красными глазами. На нём был тот же костюм, что и в ту ночь — помятый, несвежий.

— Варя, — он встал, шагнул ко мне. — Пожалуйста, дай мне...

— Нет.

Одно слово. Я даже не остановилась — прошла мимо, держась за мамину руку.

— Варя! — он двинулся за нами. — Варя, я люблю тебя! Это была ошибка, страшная ошибка, я...

Мама обернулась. Маленькая, сухонькая женщина — учительница литературы, пятьдесят восемь килограммов живого веса. Но взгляд, которым она посмотрела на Дмитрия, мог бы заморозить ад.

— Ещё шаг, — сказала она тихо, — и я вызову охрану. А потом — позвоню мужу. И он приедет из Вязьмы. Специально для тебя.

Дмитрий замер. Он знал моего отца. Знал, что Андрей Сергеевич Соколов — не из тех, кто угрожает впустую.

— Варя, — повторил он. — Пожалуйста...

Я не обернулась. Вошла в лифт, двери закрылись — и я больше не видела его лица.

Только слышала — как он бьёт кулаком по стене. Глухо, отчаянно.

Поздно.

* * *

В машине я молчала. Смотрела в окно на серый апрельский пейзаж — грязный снег, голые деревья, небо цвета старой простыни.

Москва уплывала назад — с её небоскрёбами, пентхаусами, глянцевыми журналами. С её ложью, которая три месяца была моей жизнью.

Четыреста километров до Вязьмы. Четыреста километров — и целая пропасть между той Варей, которая была, и той, которая осталась.

Мама вела машину молча. Не задавала вопросов, не уте-

шала, не говорила, что всё будет хорошо. Она знала: не будет. Не скоро.

Где-то на середине пути она включила радио. Старая песня — из маминой молодости, из того времени, когда я ещё не родилась.

«Не отрекаются, любя...»

Я попросила выключить.

Мама послушно щёлкнула кнопкой. Тишина заполнила салон — густая, тяжёлая.

— Мам, — сказала я, глядя в окно. — Все знали. Весь город. Кроме меня.

— Я знаю, детка.

— Я была посмешищем. Дурой, которая не видит очевидного.

— Ты не дура, — мама говорила ровно, спокойно. — Ты любила. Это разные вещи.

— Это одно и то же, — я закрыла глаза. — Любовь делает нас слепыми. А слепые — всегда смешны для тех, кто видит.

Мама не ответила. Но я почувствовала, как её рука накрыла мою — тёплая, сухая, надёжная.

Рука, которая никогда не предаст.

* * *

«Говорят, правда освобождает. Враньё. Правда — это нож, который режет по живому. Это яд, который впитывается в кровь и отравляет каждую клетку.

Свобода — не в том, чтобы знать правду.

Свобода — в том, чтобы научиться жить с ней. С этим ножом в сердце. С этим ядом в крови.

Научиться дышать, когда каждый вдох — боль.

Научиться идти, когда ноги не держат.

Научиться жить, когда хочется умереть.

Ради той, что внутри тебя. Ради маленького сердца, которое стучит сто сорок раз в минуту и не знает, что такое предательство.

Пока не знает».

Глава 4

«Есть места, куда возвращаешься умирать. Не физически — душой. Приползаешь, как раненый зверь в нору, зализываешь раны и ждёшь: выживешь или нет. Родительский дом — это нора. Последнее убежище. Место, где можно перестать притворяться сильной и наконец — развалиться на части».

* * *

Вязьма встретила меня дождём.

Мелким, холодным, апрельским — тем самым, от которого не спрячешься под зонтом. Он проникает везде: за воротник, в рукава, под кожу. Пропитывает насквозь.

Я стояла у калитки родительского дома и смотрела на окна. Жёлтый свет за занавесками, силуэт отца в кресле — ждёт. Запах дыма из трубы — мама топит печь, хотя давно провели газ. «Живой огонь греет лучше», — говорит она.

Семь лет назад я уезжала отсюда невестой. В белом платье, с фатой до пола, с улыбкой до ушей. Дмитрий приехал за мной на чёрном «Мерседесе» — весь город сбежался смотреть. Варька Соколова, дочка учителей, выходит за московского миллионера. Сказка. Золушка нашла принца.

Сказки врут.

Принцы оказываются чудовищами. Дворцы — тюрьмами. А хрустальные туфельки режут ноги до крови.

Я толкнула калитку и пошла по дорожке к крыльцу. Каждый шаг давался с трудом — не от слабости, от стыда. Я возвращалась побеждённой. Разбитой. С ребёнком под сердцем и осколками жизни в руках.

Дверь открылась раньше, чем я успела постучать. Отец стоял на пороге — большой, седой, с глазами цвета зимнего неба. Он не улыбался. Просто смотрел на меня — так, как смотрел в детстве, когда я приходила домой с разбитыми колёнками.

— Пап...

Он шагнул вперёд и обнял меня. Крепко, молча, до хруста в рёбрах. И я — наконец — разрыдалась.

Не так, как в больнице — тихо, в подушку, чтобы никто не слышал. По-настоящему. В голос. Как маленькая девочка, которая упала и больно ударилась. Только падала я не с велосипеда — с высоты собственных иллюзий. И ударилась — о правду.

Отец держал меня, гладил по голове, бормотал что-то невнятное. Я не слышала слов — слышала только его сердце. Оно билось ровно, спокойно, надёжно. Как метроном. Как маяк в шторм.

— Всё, — сказал он наконец. — Всё, доченька. Ты дома. Дома.

Это слово обожгло изнутри — горячо, больно, сладко. Я была дома. Там, где меня любят просто так — не за красоту, не за статус, не за способность рожать детей. Просто потому,

что я — есть.

* * *

Мама накрыла стол.

Борщ — густой, наваристый, с чесночными пампушками. Котлеты — те самые, по бабушкиному рецепту. Квашеная капуста, солёные огурцы, чёрный хлеб из местной пекарни.

Я сидела за столом и не могла есть. Смотрела на эту еду — простую, настоящую — и думала о том, что последние семь лет питалась совсем другим. Рестораны с мишленовскими звёздами. Устрицы, фуа-гра, трюфели. Вино по пятьсот евро за бутылку.

А сейчас передо мной — борщ. И это единственное, чего я хочу.

— Ешь, — мама подвинула тарелку ближе. — Тебе нужно. Ребёнку нужно.

Ребёнку. Она не спрашивала про отца. Не спрашивала, буду ли я разводиться. Не спрашивала ничего — просто кормила меня борщом и смотрела с той материнской нежностью, от которой хочется плакать.

Я заставила себя съесть несколько ложек. Горячее растеклось по телу, согревая изнутри. Впервые за неделю я почувствовала вкус еды. Впервые за неделю — захотела жить.

— Спасибо, мам.

Она кивнула. Убрала тарелки, налила чай — из самовара, с мятой и чабрецом. Травы собирала сама, сушила на чердаке. «Аптечное — мёртвое», — говорила она. — «А это —

живое».

Мы сидели втроём — я, мама, отец — и молчали. Не неловко, не тяжело. Просто молчали. Потому что слова были не нужны.

Они знали. Не детали — суть. Знали, что я разбита. Знали, что мне больно. Знали, что я приехала умирать — или возродиться. Третьего не дано.

— Твоя комната готова, — сказала мама наконец. — Я перестелила бельё, проветрила. Всё как ты любишь.

Моя комната. Та самая, где я выросла. Где делала уроки, читала книжки под одеялом, мечтала о любви. Где в шестнадцать лет рыдала из-за первой несчастной влюблённости, а мама гладила меня по голове и говорила: «Это пройдёт, детка. Всё проходит».

Прошло. Я влюбилась снова. В Дмитрия. И думала — это навсегда.

Ничего не бывает навсегда.

* * *

Ночью я не спала.

Лежала в своей старой кровати — узкой, скрипучей, с продавленным матрасом — и смотрела в потолок. Тот же потолок, что и в детстве. Те же трещины, тот же узор. Только я — другая.

Телефон лежал на тумбочке. Я выключила его ещё в больнице — не хотела видеть сообщения, звонки, попытки оправдаться. Но сейчас, в темноте, в тишине — рука сама

потянулась к нему.

Сто сорок семь пропущенных вызовов. Дмитрий.

Восемьдесят три сообщения. Дмитрий.

Двенадцать голосовых. Дмитрий.

Я открыла первое сообщение. Руки дрожали — мелко, противно.

«Варя, прости меня. Я знаю, что не заслуживаю прощения. Но пожалуйста, выслушай меня. Это была ошибка. Страшная, непростительная ошибка. Я люблю тебя. Только тебя. Всегда любил. Регина — это помутнение. Я сам не понимаю, как это произошло».

Помутнение. Четыре месяца помутнения. Как удобно.

Следующее:

«Я не ел, не спал. Сажу в пустой квартире и думаю о тебе. О нас. О ребёнке. Пожалуйста, дай мне шанс всё исправить. Я сделаю всё, что скажешь. Уволю Регину. Продам компанию. Уедем куда хочешь. Только вернись».

Уволит Регину. Как благородно. А ведь это он её нанял. Он её приблизил. Он её трахал на своём рабочем столе, пока я ставила свечки за мёртвых детей.

Ещё:

«Варя, я умираю без тебя. Буквально. Не могу дышать. Не могу думать ни о чём, кроме тебя. Ты — моя жизнь. Без тебя — ничего нет».

Меня затошнило. Не от токсикоза — от этих слов. Пустых, красивых, ничего не значащих.

Он умирает без меня? А я умирала с ним. Каждый раз, когда теряла ребёнка. Каждый раз, когда видела разочарование в его глазах. Каждый раз, когда слышала «пустоцвет» — пусть не вслух, но между строк.

Я читала сообщение за сообщением — и с каждым словом что-то умирало внутри меня. Остатки любви. Остатки веры. Остатки той Вари, которая верила в сказки.

Последнее сообщение было отправлено час назад:

«Я знаю, где ты. Приеду завтра. Нам нужно поговорить. Пожалуйста, не прогоняй меня. Я люблю тебя. И нашего ребёнка. Дай мне шанс стать отцом, которого он заслуживает».

Он приедет. Завтра. Сюда. В мой дом. В моё убежище.

Я выключила телефон и швырнула его в угол комнаты. Он ударился о стену и упал на пол — экраном вниз.

Пусть разобьётся. Пусть сдохнет. Как всё остальное.

* * *

Утро пахло блинами.

Мама пекла их на старой чугунной сковороде — тонкие, кружевные, с хрустящими краями. Отец сидел за столом, читал газету. Обычное утро. Обычная жизнь.

Я спустилась в кухню, села на своё место — то же, что и в детстве. Справа от окна, чтобы видеть сад.

— Выспалась? — спросила мама, ставя передо мной тарелку.

— Нет.

Она кивнула. Не стала спрашивать почему.

— Он приедет сегодня, — сказала я. — Дмитрий. Написал, что хочет поговорить.

Отец опустил газету. Посмотрел на меня — тем самым взглядом, от которого хочется спрятаться.

— И что ты решила?

Я молчала. Что я решила? Ничего. Я не знала, чего хочу. Не знала, что правильно. Не знала, смогу ли смотреть ему в глаза — или разрыдаюсь. Или ударю. Или всё сразу.

— Папа, — сказала я тихо. — Я не знаю, что делать.

Он встал, подошёл ко мне, положил руку на плечо.

— Послушай меня, дочка. Я не буду говорить тебе, что делать. Ты взрослая женщина. Но я скажу одно: что бы ты ни решила — мы с мамой рядом. Всегда.

Я подняла на него глаза. Он был такой большой, такой надёжный — мой папа. Человек, который никогда не предавал. Который любил маму сорок лет — одну, единственную, без измен и компромиссов.

— Как вы с мамой... — я запнулась. — Как вы смогли? Столько лет вместе. Без... без этого.

Отец усмехнулся. Не весело — горько.

— Думаешь, у нас не было трудностей? Были. Всякое было. Но мы выбирали друг друга. Каждый день. Каждый раз, когда хотелось сдаться — выбирали остаться.

— А если один перестаёт выбирать?

— Тогда это не любовь. Это привычка. Или страх. Или удобство. Любовь — это выбор. Ежедневный. Ежечасный. И

если человек выбирает другую — значит, тебя он никогда не выбирал.

Меня пробрало до костей. Мурашки побежали по спине, по рукам, по затылку. Пересохло в горле, слова застряли комком.

Он никогда меня не выбирал.

Ни когда делал предложение — выбирал красивую девушку, которая хорошо смотрится рядом.

Ни когда вёл под венец — выбирал жену, которая будет рожать наследников.

Ни когда утешал после выкидышей — выбирал роль заботливого мужа, а не меня.

Он выбирал образ. Картинку. Мечту о семье, которую я должна была воплотить.

А когда не воплотила — нашёл другую.

* * *

Он приехал в полдень.

Чёрный «Мерседес» — тот самый — остановился у калитки. Я смотрела в окно, как он выходит из машины. Костюм, пальто, идеальная укладка. Букет белых роз — огромный, нелепый на фоне деревенского дома.

Отец вышел на крыльцо. Встал, скрестив руки на груди. Преграда. Стена. Защита.

— Андрей Сергеевич, — Дмитрий остановился у калитки. — Мне нужно поговорить с Варей.

— Моя дочь не хочет тебя видеть.

— Я понимаю. Но пожалуйста... Пять минут. Больше не прошу.

Я стояла у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Смотрела на него — на мужа, которого любила семь лет. На отца моего ребёнка. На человека, который сломал мне жизнь.

Он был красив. Даже сейчас — осунувшийся, с тёмными кругами под глазами — он был чертовски красив. Тот самый принц из сказки. Только сказка оказалась с другим концом.

— Варя! — он увидел меня в окне. — Варя, пожалуйста! Выйди!

Я отступила от окна. Сердце колотилось — бешено, больно. Руки тряслись. Колени подкашивались.

Мама появилась рядом. Взяла меня за локоть — крепко, надёжно.

— Не ходи, — сказала она. — Не надо.

— Мам... Я должна.

— Почему?

Почему. Хороший вопрос. Почему я должна выходить к человеку, который меня предал? Почему должна слушать его оправдания? Почему должна что-то ему объяснять?

— Потому что иначе не смогу закрыть эту дверь, — сказала я. — Мне нужно... посмотреть ему в глаза. И сказать всё, что думаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.